

## ЕВРАЗИЙСТВО И КОНЦЕПЦИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ Г.В. ВЕРНАДСКОГО

**Лихоманов Игорь Валентинович,**

*кандидат философских наук,  
старший преподаватель Новосибирского высшего военного  
командного училища,  
Россия, 630117, Новосибирск, ул. Иванова, 49  
ORCID: 0000-0002-7495-9463  
graingar@yandex.ru*

**Бойко Владимир Анатольевич,**

*кандидат культурологии,  
доцент Института философии и права СО РАН,  
Россия, 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8  
ORCID: 0000-0002-0365-5171  
vboyko100@gmail.com*

### Аннотация

Авторы статьи поставили перед собой задачу выявить, в какой мере идеология евразийства повлияла на научные исследования Г.В. Вернадского. В 1920–1930 гг. Вернадский выступил как историк, пытающийся научно обосновать евразийский взгляд на русскую историю и как новатор, создающий новую композицию исторического нарратива, новую манеру исторического письма. Две его работы – «Начертание русской истории» (1927) и «Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего времени» (1934) – имели очевидной целью порвать с отечественной традицией историописания и выработать новую концепцию русской истории в духе евразийства. Но обе эти попытки оказались неудачными. Обоснован тезис о том, что, выдвинув в «Начертаниях» в основу периодизации русской истории (которую он рассматривал как составную часть евразийской истории) «борьбу леса и степи» и задав тем самым четкие критерии отбора исторического материала по степени важности, Вернадский весь громадный исторический материал, характеризующий политическое, социально-культурное и историческое развитие России, сдвинул на периферию исторического повествования. Показано, что наиболее удачным и новаторским оказался раздел, посвященный монгольскому периоду русской истории. Здесь Вернадский использовал прием сдвига фокуса нарратива, что позволило ему осветить исторические события с двух точек зрения: так, как они виделись из центра монгольской империи, и так, как они воспринимались из русской периферии. За счет этого создавалось «голографическое», объемное

видение исторических событий, что позволяло углубить их понимание. В работе «Опыт истории Евразии...» Вернадский предпринял попытку представить историю внутренней (русской) Евразии как историю самодостаточного субъекта исторического развития. Обосновано, что и это ему не удалось. Повествование оказалось разодрано на отдельные сюжеты, лишённые внутренней целостности. Вместе с тем в работе «Монголы и Русь» (1953) он довел до совершенства изобретенный им «гологографический» способ построения исторического нарратива. Делается вывод, что структура и содержание работ Вернадского свидетельствуют о том, что он высвободился из пут евразийской идеологии и вернулся к историографической традиции Н.М. Карамзина.

**Ключевые слова:** евразийство, идеология, исторический нарратив, историческое событие, фокус нарратива, сдвиг нарратива, историографическая традиция.

**Библиографическое описание для цитирования:**

Лихоманов П.В., Бойко В.А. Евразийство и концепция русской истории Г.В. Вернадского // Идеи и идеалы. – 2019. – Т. 11, № 3, ч. 2. – С. 317–336. – DOI: 10.17212/2075-0862-2019-11.3.2-317-336.

Смысловое ядро евразийской интерпретации отечественной истории формировалось как идеологическая рационализация мифа, рожденно-го русской революцией [14]. В максимально развернутом виде эта интерпретация представлена в двух работах Г.В. Вернадского периода ранней эмиграции (начало 20-х – середина 30-х гг. XX в.). Всю последующую научную деятельность Вернадского также нередко относят к *евразийскому направлению* в российской историографии. Но так ли это на самом деле? Какое влияние на научную программу Г.В. Вернадского оказали идеологемы евразийской концепции Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого? Как соотносились в его исследованиях принципы научного познания и политическая идеология? Заслуживает ли евразийская парадигма отечественной истории внимания и дальнейшей разработки современными учеными-историками, или должна быть сдана в архив в качестве идеологии XX в.?

Тот факт, что книги Г.В. Вернадского заслужили признание в международном научном сообществе, не позволяет отбросить эти вопросы. Проблема *идеологических предпосылок* (оснований) научного знания в целом является одной из актуальных тем современной методологии и философии науки. Следовательно, постановка вопроса об отношении научных представлений Вернадского к евразийской идеологии, заявленная нами в этой статье, вполне правомерна.

Основоположники евразийства полагали, что крах белого движения во многом был вызван отсутствием у него идеологии, способной эффектив-

но противостоять большевизму, способной вдохновить и мобилизовать народные массы на борьбу с ним. Поэтому главную свою задачу они видели в том, чтобы противопоставить «научному коммунизму» новую идеологию, столь же «научную» и действенную. В то же время евразийцы понимали, что имперско-монархический идеал утратил прежнюю легитимность. Объединить разнородные части России (после того как большевистский режим падет) могла, по их мнению, только такая идеология, которая даже вопреки очевидности манифестировала бы историческое, этнокультурное и экономическое единство страны.

Специфически евразийские идеологемы, такие как «материк Евразия», «месторазвитие», «бытовое исповедничество», сводили к минимуму объективно существующее природно-климатическое, этнокультурное и конфессиональное многообразие российского государства и общества. В идеологическом дискурсе евразийцев ведущую роль играл сконструированный ими новый, онтологически целостный природно-социальный субъект исторического процесса – «Россия–Евразия». Евразийская имагинативная география с помощью метафор и перформативных высказываний «выглаживала» физическое пространство страны, репрезентировала его более однородным и целостным в географическом и природно-климатическом отношении, чем оно является в действительности. А евразийская концепция отечественной истории была направлена на «научное» обоснование существования «евразийской нации» как единого трансэтнического континуума, сложившегося в период монгольского завоевания и господства (XIII–XV вв.).

Логика идеологического конструирования привела евразийцев к необходимости принять в качестве точки отсчета отечественной истории не Киевскую Русь, а образование империи Чингисхана. К этому же периоду было отнесено и начало генезиса русского народа как наиболее многочисленной составляющей «евразийской нации». В результате картина русской истории обрела непривычный вид.

Центральное место в этой картине занял монгольский период. Все предыдущие и последующие этапы отечественной истории в евразийской концепции так или иначе соотносятся с этим ядром и *осмысливаются* в связи с ним. Герменевтический круг евразийского толкования отечественной истории замкнут на монгольском периоде как на ее *смыслополагающем* ядре. Целью же евразийского движения в политическом и социально-культурном плане являлось *восстановление* трансэтнического, монокультурного, «идеократического» единства, якобы сложившегося в границах империи Чингисхана, но «расколотого» реформами Петра I. В этом, отчасти сознательном, а отчасти неосознанном стремлении вернуться в прошлое как нигде проявляется *мифологическая основа* евразийства.

Основоположники движения не единожды заявляли, что российские историки либо полностью игнорировали наличие «монгольского периода» в русской истории, либо недооценивали его влияние на характер Российского государства и общества. «О России эпохи татарского ига, – отмечал Н.С. Трубецкой, – пишут так, как будто никакого татарского ига и не было» [18, с. 240].

Действительно, во второй половине XIX – начале XX в. историки государственной школы принципиально отвергали наличие особого монгольского периода в русской истории, не признавая заметного влияния монгольской государственности на трансформацию Древнерусского государства в Московское царство. Эту точку зрения четко высказал С.М. Соловьёв. По его мнению, татарское нашествие не имело такого катастрофического характера, как было принято думать ранее, а процесс формирования новых социально-политических отношений, результатом которого явилось московское самодержавие, начался задолго до монгольского завоевания и развивался независимо от него.

Соловьёв полагал, что историк, фокусируя взгляд на взаимоотношения Руси и монгольской империи, утрачивает верную перспективу, а значит, воспринимает и рисует прошлое *искаженно*: всё важное, что действительно определяло ход исторического развития Руси, оттесняется на второй план, а случайное и внешнее обретает гипертрофированное значение. Поэтому, считал он, «историк не имеет права с половины XIII века прерывать естественную нить событий... и вставлять татарский период, выдвигать на первый план татар, татарские отношения, вследствие чего необходимо закрываются главные явления, главные причины этих явлений» [17, с. 54].

В.О. Ключевский вообще не нашел в своем курсе лекций места для монгольского периода. «Ордынские ханы не навязывали Руси каких-либо своих порядков, – писал он, – довольствуясь данью, даже плохо вникали в порядок, там действовавший» [11, с. 41]. Ключевский признавал некое положительное влияние Золотой Орды, но лишь как «бича божьего», внешнего сдерживающего начала, не позволившего князьям разодрать Русь в клочья из-за личной вражды: «Гроза ханского гнева сдерживала забияк; милостью, т. е. произволом, хана не раз предупреждалась или останавливалась опустошительная усобица» [Там же, с. 41].

Петербургский историк С.Ф. Платонов, бывший до революции научным руководителем Г.В. Вернадского, рассматривал монгольское нашествие как историческую случайность, не изменившую «естественного» хода развития Руси. «Если и находятся следы влияния татар в администрации, во внешних приемах управления, – писал он, – то они невелики и носят характер частных отрывочных заимствований... Поэтому мы можем далее рассматривать внутреннюю жизнь русского общества в XIII в.,

не обращая внимания на факт татарского ига» [15, с. 125]. Вместе с тем Платонов отмечал недостаточную изученность этой «исторической случайности», чтобы «с уверенностью ясно и определенно указать степень исторического влияния татарского ига» [Там же, с. 122].

Отрицание в отечественной историографии монгольского господства как фактора, заметно повлиявшего на ход русской истории, возобладало к концу XIX – началу XX в. под влиянием таких выдающихся представителей государственной школы, как С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и С.Ф. Платонов. Но их концепция, в свою очередь, формировалась на основе отрицания положений, высказанных Н.М. Карамзиным и десятилетиями господствовавших в отечественной историографии XIX в. «Карамзин первым из историков, – отмечает Н.С. Борисов, – выделил влияние монгольского нашествия на развитие Руси в большую самостоятельную проблему исторической науки» [2, с. 132]. Сам Карамзин оценивал это влияние неоднозначно, выявляя в нем как резко негативные, так и позитивные черты. Батыево нашествие было, по его мнению, величайшим бедствием, после которого Русь превратилась в «обширный труп», а двухсотлетнее татарское иго послужило главной причиной экономического, политического и культурного отставания России от Европы.

Но помимо этих широко известных утверждений, автор «Истории государства Российского» уделил большое внимание воздействию монгольского правления на русскую ментальность, культуру и эволюцию российской государственности. Прежде всего он отметил «огрубление нравов» русского народа как следствие господства над ним представителей более примитивной культуры, выразившееся, например, в ужесточении наказаний за преступления – введении смертной казни и телесных наказаний (клеймение и сечение кнутом), не известных законодателям «Русской Правды». Карамзин указывал и на общую моральную деградацию русского народа, который, «забыв гордость народную», выучился в монгольский период «низким хитростям рабства» [10, с. 202]. Эта травма оказалась настолько глубокой, что стала неотъемлемой частью русского национально-го характера. «Может быть, – писал Карамзин, – самый нынешний характер Россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством Моголов» [Там же, с. 203].

В то же время влияние Золотой Орды, по его мнению, сыграло позитивную роль в развитии системы налогообложения, денежного обращения, а также торговли со странами Востока: «Господство Моголов в России открыло туда путь многим купцам Бесерменским, Харазским или Хивинским, издревле опытным в торговле и хитростях корыстолюбия» [9, с. 52, 53]. Однако самым важным и положительным результатом «ига» Карамзин считал его воздействие на формирование новой политической системы рус-

ской государственности, выразившееся в подавлении, с одной стороны, демократических институтов и традиций, характерных для Древней Руси, а с другой – влияния удельной аристократии (боярства): «внутренний государственный порядок изменился: все, что имело вид свободы и древних гражданских прав, стеснилось, исчезало», а монархический принцип восторжествовал [10, с. 203]. «Сия перемена, – полагал Карамзин, – без сомнения неприятная для тогдашних граждан и Бояр, оказалась величайшим благодеянием Судьбы для России» [Там же, с. 205]; Москва «обязана своим величием Ханам» [Там же, с. 208].

Концепция Карамзина получила широкое распространение в научной литературе и публицистике. Один из первых ее сторонников, А. Рихтер, издал в 1822 г. книгу «Нечто о влиянии монголов и татар на Россию», в которой доказывал, что под монгольским влиянием русские превратились в «народ азиатский» [12, с. 83]. В целом разделял эту концепцию и Н.А. Полевой. В своей «Истории русского народа» он повторял мысль Карамзина о влиянии «ига» на менталитет русского этноса: «Русс покорствовал, унижался духом, терял свою национальность, принимал обычаи, нравы, одежду своего властителя...» [16, с. 254]. Поддерживал карамзинскую концепцию и популярный в демократической среде 60-х гг. XIX в. Н.И. Костомаров.

Таким образом, в отечественной историографии существовало две противоположных интерпретации «монгольской проблемы»: одна шла от Н.М. Карамзина, а другая от С.М. Соловьёва. Евразийство укладывалось в первую из них, о чем, не будучи профессиональными историками, Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий, похоже, не догадывались. Выдвинутая ими концепция отечественной истории подверглась разгромной критике со стороны весьма уважаемых и признанных историков и философов русского зарубежья. Характерно, что основной критический удар пришелся не на концепцию как таковую, а на *скрытые идеологические мотивы*, которыми руководствовались ее авторы. Евразийцев обвиняли в неискренности, желании «пленить в послушание» русскую эмигрантскую молодежь и в конечном счете в заведомом искажении русской истории.

Эти обвинения были отнюдь не беспочвенными. Выступая не как ученый, а как идеолог, Н.С. Трубецкой выработал несколько циничное, хотя и близкое к современным взглядам понимание специфики исторического познания. Суть его, указывает Ф.Р. Анкерсмит, в том, что «необходимо различать историческое исследование (вопрос фактов) и историческое письмо (вопрос интерпретации)» [1, с. 70]. Другими словами, требуется четкая дифференциация *исторического исследования*, нацеленного на выявление исторических фактов (того, что с высокой степенью достоверности имело место в прошлом), и *исторической интерпретации* этих фактов, зависящих

от субъективных, в том числе идеологических установок исследователя. Изменение позиции исследователя, с которой он рассматривает исторические факты, включая их в новые «организующие схемы» (нарративы), позволяет выявить и новые взаимосвязи этих фактов, и новые их значения (смыслы) в контексте организующих схем. Согласно Трубецкому, важны не сами факты, а их идеологически «правильная», т. е. евразийская интерпретация. Но в эпоху модерна, когда любая идеология претендовала на «научность», евразийцы нуждались в профессиональных ученых-историках, которые своим авторитетом придали бы их воззрениям убедительность и «легитимность».

В 20-х гг. XX в. даже критики евразийства не могли отрицать в нем какой-то убедительной силы, какой-то *внутренней правды*, привлекавшей и «соблазнявшей», по выражению Г.В. Флоровского, многих русских эмигрантов, включая профессиональных историков, философов, религиозных мыслителей и политических деятелей. На некоторое время к движению примкнул молодой историк-эмигрант С.Г. Пушкарев, написавший по просьбе П.Н. Савицкого статью «Россия и Европа в историческом прошлом», опубликованную в «Евразийском временнике» (1927). В ней, рассматривая борьбу Ливонского ордена и Пскова в XIV–XV вв., Пушкарев пытался обосновать тезис об исконной враждебности Запада и Руси. Позднее, перейдя в другой политический лагерь, он откровенно признал, что выдал частный случай за общую тенденцию.

Евразийскими идеями была пропитана книга «Чингисхан как полководец и его наследие» [21] калмыцкого общественно-политического деятеля, врача Э. Хара-Давана. Опираясь на опубликованные арабские и монгольские источники, на работы отечественных и зарубежных востоковедов и военных историков, а также на статьи Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого и работы Г.В. Вернадского, автор создал увлекательный, но крайне тенденциозный текст. Книга имела успех, привлекла внимание к проблематике монгольского периода российской истории.

Но наиболее удачным «приобретением» евразийцев стало появление в их рядах Г.В. Вернадского. Его поворот к евразийству был предопределен революцией, которая, по выражению М. Ларюэль, открыла «азиатский лик России» [13, с. 95]. Живые впечатления от столкновения лицом к лицу с революционной стихией подготовили молодого ученого к восприятию евразийской идеологии, с которой он познакомился в 1921 г., когда из Константинополя перебрался в Афины, а затем в Прагу.

Первоначально, в 1921–1934 гг., Вернадский выступает как «революционер», кардинально изменяющий концепцию отечественной истории, создающий принципиально новую композицию исторического нарратива, новую манеру исторического письма. В отличие от Трубецкого и

Савицкого, задача «научного» оправдания евразийской идеологии, «подкрепления» ее историческими фактами была для него вторична, хотя и не исключалась вовсе. Следуя призыву Савицкого: «идеология должна стать методологией», Вернадский рассматривал евразийскую концепцию отечественной истории как дескриптивную познавательную модель, интуитивно убедительную, но требующую «раскрытия» на историческом материале. Две его ранние работы – «Начертание русской истории» (1927) и «Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего времени» (1934) – были призваны порвать с отечественной традицией историописания и выработать новую концепцию российской истории в духе евразийства. Попытки оказались неудачными, но на следующем этапе, который характеризовался общим возвратом к традиции, они помогли Вернадскому сохранить оригинальность и свежесть евразийского взгляда на отечественную историю, уже вне евразийской политической идеологии.

Основному тексту «Начертания русской истории» предпослано обширное введение, где сформулированы общие концептуальные принципы евразийского видения отечественной истории, на которых строится композиция исторического нарратива. Вернадский прежде всего отделяет историю России от истории Евразии. История России – лишь часть истории Евразии, но в определенный момент они сливаются воедино. Вернадский принимает телеологию евразийства и интерпретирует историю Евразии как «последовательный ряд попыток создания единого всеевразийского государства» [5, с. 31]. В изображении Вернадского она приобретает циклический характер, где фаза объединения сменяется фазой распада. Вслед за П.Н. Савицким он насчитывает четыре таких цикла, связанных с конкретным народом и государством, которые выступают в роли «объединителей» Евразии: скифский, гуннский, монгольский и русский.

Но поскольку история России (русского народа и государства) лишь в последнем цикле сливается с историей Евразии, она должна иметь собственную периодизацию, отличную от общеевразийской. Объективной основой такой периодизации Вернадский считал географическое членение Восточно-Европейской равнины на зону лесов и зону степей, генерирующее перманентный конфликт между оседлыми и кочевыми народами («борьбу леса и степи»). Можно подумать, что Вернадский заимствовал известную концепцию С.М. Соловьёва, но это не вполне так. Соловьёв использует эту концепцию для характеристики взаимоотношений русского мира с миром кочевых культур, тогда как Вернадский кладет ее в основу периодизации русской истории в целом. Для Соловьёва «борьба леса и степи» – важный, но периферийный сюжет *одного из этапов* русской истории, тогда как Вернадский выдвигает его в фокус нарратива, задавая тем самым четкий критерий дифференциации исторического материала по сте-



пени важности. Такой сдвиг внимания кардинально порывал с предыдущей историографической традицией, заложенной еще русскими летописями, где фокус нарратива был сосредоточен в эпицентре власти русского государства. Этот сдвиг создавал опору для выстраивания альтернативного исторического нарратива, так как, по справедливому замечанию А. Данто, «если у нас нет критериев для установления, какие события имеют отношение к делу, а какие – нет, мы просто вообще не в состоянии писать историю» [8, с. 162].

Реализация такого подхода на практике обернулась неудачей. Поскольку в фокусе нарратива оказались взаимоотношения русского мира с миром кочевых народов и государств, весь громадный массив исторического материала, характеризующий внутреннее политическое, социально-экономическое и культурное развитие русского государства, сдвинулся на периферию исторического повествования, а большей частью вообще выпал за его рамки. Кроме того, исторические сюжеты, так или иначе связанные со стержневой темой «борьбы леса и степи», были немногочисленны, и автору пришлось искусственно дополнять их другими, напрямую к ней не относящимися, что послужило наглядным свидетельством правоты С.М. Соловьёва.

Наиболее удачным и новаторским оказался раздел книги, посвященный монгольскому периоду. Здесь Вернадский вторично использовал прием сдвига фокуса нарратива, благодаря чему представил этот этап русской истории в совершенно ином ракурсе. В центре внимания историка оказалась монгольская империя. В ткань повествования отбирались лишь те события и сюжеты русской истории, которые имели также значимость и в монгольской истории, т. е. Русь была представлена как периферийная составная часть монгольского государства. Благодаря такому «повороту взгляда» Вернадскому удалось выявить новые аспекты некоторых событий русской истории, прежде ускользавшие от внимания ученых.

Например, известный эпизод переписи населения, приведший к волнениям в Новгороде (1257–1258 гг.), историки традиционно объясняли потребностью монголов точно установить размер дани («выхода»). Но Вернадский объединяет этот сюжет с другим, казалось бы, очень далеким сюжетом. На всемонгольском курултае незадолго до событий в Новгороде было принято решение начать войну против южного Китая, и хан Хубилай (1257–1294 гг.) приказал взять часть воинских контингентов из русских княжеств. Отсюда вытекает требование монголов к русским князьям и городам дать «число», т. е. переписать всех взрослых мужчин, годных для военной службы.

Поход против князя Даниила Галицкого в 1260 г., который ранее представлялся как обычная полицейская мера, Вернадский увязал с борьбой

между ханом Золотой Орды Берке и персидским ханом Хулагу. По мнению Вернадского, Берке «стремился как можно лучше обеспечить свой тыл со стороны Руси» и потому решил раз и навсегда пресечь сепаратистские тенденции на западной окраине своего государства [5, с. 119].

Дипломатический успех Александра Невского, который приехал в Сарай с целью уговорить хана Берке не карать жителей русских городов, перебивших монгольских откупщиков и сборщиков дани, Вернадский поставил в зависимость от начавшегося конфликта между монгольским государством и Византией. Хан, пишет он, «согласился на мольбы Александра тем охотнее, что ему некогда было заниматься русскими делами, так как предстоял поход в Закавказье и, кроме того, на Балканы» [Там же, с. 120].

В этих эпизодах Вернадский объединяет сюжеты из русской и монгольской истории, благодаря чему выявляются их новые смысловые аспекты, обогащается наше представление о причинно-следственной взаимосвязи параллельных событийных рядов. Это хорошо заметно в рассказе о борьбе детей Александра Невского за великокняжеский стол. В изображении Вернадского конфликт между братьями являлся частью междоусобной борьбы в Золотой Орде, а русские князья служили *орудиями* этой борьбы. Хан Тохта поддержал Андрея Городецкого, а темник Ногай – Дмитрия Переяславского. Этот эпизод истории государственной школы изображали в обратной перспективе: главными действующими лицами оказывались русские князья, которые хитроумно использовали борьбу монгольских властителей в своих интересах. Заметим, что обе трактовки релевантны: если для русских князей монголы служили орудием в битве за великокняжеский стол, то для монголов русские князья выступали как орудие борьбы за свои интересы. Однако совмещение двух альтернативных способов описания этого эпизода дает нам более объемное, так сказать, «голографическое» представление о нем.

Достоинства «монгольского» раздела «Начертания» не искупали общей неудачи работы. Последующие разделы, где речь шла о Московском царстве и Российской империи, с очевидностью выявили искусственный характер периодизации российской истории, принятый Вернадским. Они содержали крайне неполный, эскизный характер наиболее важных этапов отечественной истории с уклоном в сюжеты колонизации Сибири, Дальнего Востока и Америки, а также восточной политики российского правительства. Причина неудачи заключалась в том, что взгляд на отечественную историю с точки зрения взаимодействия кочевого и оседлого мира обладает эвристическими достоинствами лишь на определенном историческом этапе, за границами которого утрачивает всякий смысл.

Следующей попыткой Вернадского было создание истории Евразии. Замысел этой работы был гораздо ближе к евразийской идеологии, ведь

«Начертание» замышлялось как история *русского* народа. Теперь же в фокусе нарратива оказалось *евразийское пространство* – географическая область, которую П.Н. Савицкий представил как особый метафизический субъект – «месторазвитие», якобы объединяющее природную среду и социально-культурную сферу в единое целое. Таким образом, Г.В. Флоровский был в известной мере прав, когда утверждал, что в представлении евразийцев «подлинным субъектом исторического процесса и становления оказывается как бы территория, – даже не народы» [20, с. 370]. Здесь мы прослеживаем некоторое сходство евразийского подхода с тем, что позднее талантливо продемонстрировал Ф. Бродель, который, по меткому замечанию Л. Февра, возвел Средиземноморье «в ранг действующего лица истории» [19, с. 178]. Однако у Броделя историческая субъектность территории является иллюзорной, тогда как евразийцы всерьез воспринимали «Россию–Евразию» как «симфоническую личность», являющуюся субъектом исторического развития, как «систему без связей с внешним миром, гармоничную в своей закрытости» [13, с. 54].

Следствием такого *идеологического кодирования* исторического нарратива явилось его композиционное членение на внутреннее ядро, географически совпадающее с «месторазвитием» евразийцев, и внешнее окружение, охватывающее обширные области Евразии и Африки, примыкающие к этому ядру. Внутреннее культурно-историческое единство «ядра» Вернадский пытался обосновать якобы имеющимся глубоким различием биохимии крови у народов Евразии и Западной Европы, но главным образом – культурным синтезом, приведшим к формированию единого «евразийского самосознания», важнейшим элементом которого он считал «потребность в беспрекословном подчинении высшему принципу – государству, церкви» [6, с. 7, 8].

Очевидная слабость этих аргументов на фоне глубоких религиозно-культурных различий между народами, включенными в евразийское «ядро», заставила Вернадского усложнить концепцию. Наряду с постоянно действующими центростремительными силами он признавал столь же постоянно действующие центробежные силы. Преобладание то одних, то других обусловило, по его мнению, циклический характер исторического развития «России–Евразии», характеризующийся чередованием периодов политического единства с периодами политической раздробленности.

Но и эта важная уступка не спасла замысел Вернадского от полного краха. Ему так и не удалось *рассказать* историю «Евразии» как историю «симфонической личности» без внешних связей и гармоничную в своей закрытости. Повествование, разорванное на отдельные сюжеты, оказалось лишенным внутренней целостности. Каждый из таких сюжетов охватывал события, происходящие в трансграничных культурных ареалах,

частично включающих внутреннее «ядро», но выходящих за его пределы в «периферийные» области, куда всякий раз смещался фокус нарратива. Иначе говоря, автор постоянно демонстрировал отсутствие истории Евразии. Вместо нее у Вернадского получилось нагромождение различных «обрывков» из историй арабского халифата, Византии, Персии, Среднего Востока и Китая. Каждый из этих «обрывков» представлял собой сюжетную линию, разворачивающуюся за пределами нарративного «ядра» и лишь событийно (как бы краем) его захватывающую. Переход от одного сюжета к другому разрывал ткань повествования, что автор безуспешно пытался «замаскировать» с помощью предложений-склеек, подобных следующему: «В то время как в западной части Евразии подымались новые сильные государства, в Туркестане наступила пора раздробления и упадка» [6, с. 63]. К этому добавлялась совершенно произвольная периодизация, которая лишь подчеркивала отсутствие единства исторического процесса внутри нарративного «ядра», т. е. внутри пресловутого евразийского «месторазвития».

С момента публикации «Опыта истории Евразии» (1934) начинается второй этап творческой эволюции Вернадского, запечатленный в многотомной «Истории России», а также в учебнике «Русская история», написанном для американских вузов. Структура и содержание этих работ свидетельствуют о том, что их автор освобождается из пут евразийской идеологии, сохранив от нее лишь несколько «родимых пятен».

Прежде всего Вернадский отказывается от попыток написать историю Евразии как культурно-исторического целого. Он сохранил этот термин, однако исключил мистическое содержание, вложенное в него П.Н. Савицким. «Россию мы рассматриваем как географическое единство – Евразию, – заявляет он в окончательной редакции “Русской истории”, – но этот термин будет малопонятен без пояснения *неправильных концепций* (курсив наш. – П.Л., В.Б.), которые громоздятся вокруг него» [7, с. 11]. И далее уточняет: «В моем употреблении термин “Евразия” выражает не неопределенную социоисторическую комбинацию Европы и Азии, а громадную специфическую географическую область земного шара в центре континента» [Там же]. Другими словами, Вернадский использует термин «Евразия» для обозначения географической области (субконтинента), имеющей однородную зонально-ландшафтную структуру и сходные природно-климатические условия. При этом он решительно отказывается от идеологических спекуляций с термином «месторазвитие», онтологизирующих взаимосвязь природной среды и культуры. Его отношение к данной проблеме сугубо рациональное: на ранних этапах истории в разных типах ландшафта складываются разные типы хозяйственного уклада. В степной зоне господствуют кочевники, а в лесной и лесостепной зонах – оседлые народы,

охотники, земледельцы. Но тип хозяйствования еще не определяет уровень развития культуры и тем более ее качественные характеристики.

Вслед за разрушением ключевой идеологемы евразийства («месторазвития») неизбежно рухнет вся идеологическая конструкция, в частности, представление об особом «евразийском самосознании», якобы присущем народам Евразии. В полном противоречии с тем, что он писал раньше, Вернадский отвергает мысль об объективно присущей *русскому* сознанию потребности в беспрекословном подчинении государству и церкви. «Одного взгляда на политическую историю России, – настаивает он, – достаточно для избавления от мифа тоталитаризма как внутренне присущего русской ментальности» [3, с. 25]. Избавляется Вернадский и от другого евразийского (а также славянофильского) мифа – о сущностном отличии России от Европы. «На протяжении долгого времени, – утверждает он, – в русской истории и европейской истории наблюдались не только различные, но и сходные процессы, и во внимание следует принимать как те, так и другие» [Там же, с. 11].

Работы Вернадского, написанные после 1934 г., свидетельствуют о его возврате к традициям карамзинского направления в русской историографии. Внутреннее членение (периодизация) русской истории совпадает с тем, что мы находим у историков этого направления. Он выделяет: а) древнюю историю (охватывавшую дославянские государственные образования); б) историю Киевской Руси (включая период раздробленности); в) монгольский период; г) Московское царство; д) имперский период.

Конечно, у Н.М. Карамзина и Н.А. Полевого эта структура выявлена не так четко. Период древней истории у Полевого вообще отсутствует, а у Карамзина ему отведена лишь вводная глава первого тома. Монгольский период у Карамзина отдельно не выделен, хотя структурно этот период укладывается в исторический промежуток от начала монгольского вторжения (1237–1238 гг.) до смерти Василия II (1452 г.). Полевой же, хотя и ввел в научный дискурс название «монгольский период» для обозначения этого этапа в русской истории, структурно «размазал» его по трем разделам своего произведения. В то же время Полевой первый (и единственный до Вернадского) включил в «Историю русского народа» обширный рассказ о биографии Чингисхана и рождении монгольской империи, считая это необходимым для более глубокого понимания отечественной истории.

Еще более поразительным фактом, свидетельствующим о возврате Вернадского к карамзинской традиции, служит его оценка влияния монгольского периода на ход русской истории. Вслед за Карамзиным он выделил три основополагающих принципа формирования и функционирования политической власти в киевский период: монархический, аристократический и демократический. Каждый из этих принципов имел

институциональное воплощение – соответственно в виде княжеской власти, дружины (боярства), городского веча. Влияние монгольского господства на политический строй России выразилось главным образом в *подавлении* вечевых (демократических) и аристократических институтов и связанных с ними политических традиций. Косвенным же образом влияние монголов проявилось в становлении Московского государства как «военного лагеря», сопровождавшемся трансформацией «свободного общества в общество обязательной повинности» [4, с. 361]. Вернадский также разделял мнение Карамзина о резком ужесточении системы наказаний («огрублении нравов»), произошедшем в монгольский период под влиянием знакомства русских князей и княжеской администрации с уголовным и процессуальным правом завоевателей. Другими словами, если отвлечься от деталей, Вернадский *буквально* воспроизвел концепцию Карамзина! Расхождение между ними проявляется лишь в оценке последствий монгольского влияния. Карамзин считал подавление аристократического и демократического начал «величайшим благом» для России, в то время как Вернадский, изживший былое увлечение тоталитарными идеями евразийства, думал иначе.

Вместе с тем Вернадский довел до совершенства изобретенный им новый способ построения исторического нарратива. Его книга «Монголы и Русь» (1953), безусловно, лучшая из всех, им написанных, имела для своего времени революционный характер, да и поныне может служить образцом для историков.

Принцип построения нарратива, используемый автором в этой книге, можно сопоставить с современными информационными технологиями. Вначале автор набрасывает широкую панораму, передающую в синхронном срезе картину сложившихся политических отношений накануне монгольского завоевания и охватывающую гигантскую область Евразии и Северной Африки. Затем из этой панорамы вырезается один фрагмент – территория, заселенная монгольскими племенами, и делается его «многократное увеличение»: рассказ о возникновении монгольской империи, распространившейся на запад до Карпат и Сирии, история ее взлета, распада и гибели. Из этой диахронной картины вновь вырезается один фрагмент – улус Джучи – и дается его «многократное увеличение»: рассказ об истории становления, развития и упадка Золотой Орды. На последнем этапе данная операция вновь повторяется. Теперь в качестве увеличенного фрагмента выступает Московское княжество. Рассказ о нем перемежается с рассказом о Польско-Литовском государстве и распаде Золотой Орды в XIV–XV вв., так что структура нарратива, хотя и выстроена в соответствии с хронологическим принципом, как бы разветвляется на несколько синхронных субнарративов.

Благодаря такой композиции линейное пространство текста сегментируется на три частично синхронизированных субнарратива, вначале расположенных один за другим, а затем перемежающихся друг с другом. Сдвигая фокус нарратива от одного раздела к другому, автор выявляет взаимосвязи параллельных рядов событий на трех разных уровнях политической организации монгольской империи. Благодаря этому события русской истории получают освещение с двух, а иногда с трех разных точек зрения, что позволяет историку добиваться более «объемного» их видения и более полного и глубокого понимания. Такой эффект достигается путем включения одних и тех же событий (процессов) в три разные организующие схемы, выявляющие взаимосвязи этих событий с другими сюжетами в трех параллельных рядах, а также дополняющие друг друга значения данных процессов в контекстах различных организующих схем.

Говоря о «возврате» Вернадского к карамзинской историографической традиции, мы, конечно же, имеем в виду не возврат в прямом смысле, а ее дальнейшее *развитие* после долгого господства соловьевской традиции. Это развитие стало возможным благодаря «евразийской прививке», которая позволила историку увидеть прошлое России не таким, каким оно виделось его учителям. Но был ли Вернадский на самом деле «правоверным» евразийцем даже в ранний период своей эмигрантской жизни и творчества? Вопрос может показаться странным, ведь нет никаких сомнений в том, что он действительно был захвачен евразийским мифом и увлечен евразийской идеологией. «Начертанию русской истории» предпослан раздел, в котором автор, почти дословно цитируя П.Н. Савицкого, излагает евразийский взгляд на русскую историю, включая концепт «месторазвития» и признание жесткого авторитаризма (военной империи) единственной «устойчивой евразийской формой государства и власти» [5, с. 36]. Концепция этой работы, выдвинувшей в фокус нарратива «борьбу леса и степи», казалось бы, исключает ее неевразийское прочтение. И все-таки более тщательный анализ показывает, что в структуре этого произведения есть «внешняя» (идеологически *навязанная*) оболочка и «внутреннее» ядро, которое совершенно идентично тому, что мы обнаруживаем в учебнике «Русская история» (1969). Достаточно убрать заглавия соответствующих разделов, чтобы убедиться в этом. При этом обе части, «внешняя» и «внутренняя», конфликтуют между собой при очевидном доминировании первой.

В «Русской истории» мы видим обратную картину. Во вступительной части к этой итоговой работе автор воскрешает старую периодизацию, построенную на «взаимосвязи между лесной и степной зонами» [7, с. 20]. Однако в самом тексте он придерживается традиционного образца. Таким образом, «внутренняя» структура становится «внешней» и подминает под

себя идеологически навязанную концепцию «Начертания». Понимание Вернадским «борьбы леса и степи» всё больше приближается к пониманию С.М. Соловьёва: не «фундаментальная основа» периодизации русской истории, а дескриптивная познавательная модель, описывающая динамику взаимоотношений русского народа и государства с кочевыми народами и государствами.

Отсюда следует парадоксальный вывод о том, что взгляды Вернадского в их глубинной основе практически не менялись между 1927 и 1969 гг. Увлечение евразийством и евразийской идеологией помогло ему обнаружить «нетронутое поле» научных исследований, а также выработать оригинальный стиль историописания. Принцип построения исторического нарратива и само понимание нарратива как включения фактического материала во внешние организующие схемы позволяют отнести Н.С. Трубецкого, описавшего этот принцип, и Г.В. Вернадского, реализовавшего его в исторических исследованиях, к предшественникам современных пост-модернистских теорий исторического нарратива. Но становление Вернадского как профессионального историка было сопряжено с *преодолением* евразийской идеологии, от которой в его поздних произведениях мало что сохранилось.

#### Литература

1. Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М.: Канон+, 2009. – 400 с.
2. Борисов Н.С. Отечественная историография о влиянии татаро-монгольского нашествия на русскую культуру // Проблемы истории СССР. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – Вып. 5. – С. 129–148.
3. Вернадский Г.В. Киевская Русь. – Тверь: Леан; М.: Аграф, 1999. – 447 с.
4. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – М.: Ломоносовъ, 2013. – 509 с.
5. Вернадский Г.В. Начертание русской истории. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 360 с.
6. Вернадский Г.В. Опыт истории Евразии: звенья русской культуры. – М.: КМК, 2005. – 340 с.
7. Вернадский Г.В. Русская история: учебник. – М.: Аграф, 1997. – 542 с.
8. Данто А. Аналитическая философия истории. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 290 с.
9. Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 т. Т. 4. – М.: Наука, 1992. – 480 с.
10. Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 т. Т. 5. – М.: Наука, 1993. – 560 с.
11. Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. – М.: Мысль, 1988. – 447 с.



12. *Кривошеев Ю.В.* Русь и монголы: исследование по истории Северо-Восточной Руси XII–XIV вв. – СПб.: Академия исследования культуры, 2015. – 452 с.
13. *Ларюэль М.* Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи. – М.: Наталис, 2004. – 287 с.
14. *Лихоманов И.В., Бойко В.А.* Евразийцы и муза Кляно: от мифологии – к науке // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 2017. – № 40. – С. 173–187.
15. *Платонов С.Ф.* Полный курс лекций по русской истории. – СПб.: Кристалл, 2000. – 838 с.
16. *Полевой Н.А.* История русского народа. – М.: Вече, 2008. – 544 с.
17. *Соловьев С.М.* Сочинения. В 18 кн. Кн. 1. История России с древнейших времен. Т. 1–2. – М.: Мысль, 1988. – 800 с.
18. *Трубецкой Н.С.* Наследие Чингисхана. – М.: Аграф, 2000. – 556 с.
19. *Февр А.* Бой за историю. – М.: Наука, 1991. – 630 с.
20. *Флоровский Г.В.* Евразийский соблазн // Мир России – Евразия: антология. – М.: Высшая школа, 1995. – С. 354–385.
21. *Хара-Даван Э.* Чингис-хан как полководец и его наследие: культурно-исторический очерк Монгольской империи XII–XIV веков. – Белград: изд. авт., 1929.

Статья поступила в редакцию 04.03.2018.

Статья прошла рецензирование 05.04.2018.

DOI: 10.17212/2075-0862-2019-11.3.2-317-336

## EURASIANISM AND G.V. VERNADSKY CONCEPT OF RUSSIAN HISTORY

**Likhomanov Igor,**

*Cand. of Sc. (Philosophy),*

*Senior Lecturer, Novosibirsk Higher Military Command School,*

*49 Ivanov St., Novosibirsk, 630117, Russian Federation*

ORCID: 0000-0002-7495-9463

graingar@yandex.ru

**Boyko Vladimir,**

*Cand. of Sc. (Culturology),*

*Professor, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,*

*8 Nikolaev St., 630090, Novosibirsk, Russian Federation*

ORCID: 0000-0002-0365-5171

vboyko100@gmail.com

### Abstract

The authors of the article set a task to identify the extent to which Eurasian ideology has influenced G. V. Vernadsky scientific research. In the 20 – 30s, Vernadsky acted as a historian trying to scientifically justify the Eurasian view of Russian history and as an innovator, creating a new composition of the historical narrative, a new style of historical writing. Two of his works: “Outlines of the History of Russia” (1927) and “The Experience of the History of Eurasia from the Half of the VI Century to the Present Time” (1934) had the obvious purpose to break with the national tradition of history and develop a new concept of Russian history in the spirit of Eurasianism. But both attempts failed.

In “Outlines of the History of Russia” the basis of the periodization of Russian history (which he considered as a part of the Eurasian history) Vernadsky considered as “the fight of forest and steppe” There can be an illusion that he borrowed this concept from the Russian historian S.M. Solovyov. But Vernadsky’s concept is different. For Solovyov the fighting of forest and steppe is important, but it is peripheral to the story of one of the stages of Russian history. Vernadsky also puts this concept in the spotlight, thereby setting clear criteria for the selection of historical material on the degree of importance. As a result, all the huge historical material that characterizes the political, socio-cultural and historical development of Russia moved partially to the periphery of the historical narrative, and most of all fell out of it. The most successful and innovative was the section of the book devoted to the Mongolian period of Russian history. Here, Vernadsky used the technique of shifting the focus of the narrative, which allowed him to cover historical events from two points of view: as they were seen from the center of the Mongolian Empire and as they were perceived from the Russian periphery. Due to this, a “holographic” vision of historical events was created, which allowed to deepen their understanding.

In the work “The Experience of the History of Eurasia...” Vernadsky attempted to present the history of internal (Russian) Eurasia as a history of self-sufficient subject of historical development. But he also failed to do that. The story was torn into separate subjects, devoid of internal integrity. In subsequent years, the structure and content of works by Vernadsky indicate that he was released from the fetters of the Eurasian ideology and returned to the historiographical tradition of N.M. Karamzin. At the same time, in the work of “Mongols and Russia” (1953), he perfected his “holographic” method of constructing a historical narrative.

**Keywords:** eurasianism, ideology, historical narrative, historical evidence, focus of the narrative, shift of the narrative, historiographical tradition.

#### Bibliographic description for citation:

Likhomanov I., Boyko V. Eurasianism and G.V. Vernadsky concept of Russian history. *Idei i idealy – Ideas and Ideals*, 2019, vol. 11, iss. 3, pt. 2, pp. 317–336. DOI: 10.17212/2075-0862-2019-11.3.2-317-336.

#### References

1. Ankersmit F.R. *History and tropology: the rise and fall of metaphor*. Berkeley, University of California press, 1994 (Russ. ed.: Ankersmit F.R. *Istoriya i tropologiya: vʒlet i padenie metafory*. Moscow, Kanon+ Publ., 2009. 400 p.).
2. Borisov N.S. Otechestvennaya istoriografiya o vliyanii tataro-mongol'skogo nashestviya na russkuyu kul'turu [Domestic historiography on the influence of the Tatar-Mongol invasion on Russian culture]. *Problemy istorii SSSR* [Problems of the history of the USSR]. Moscow, MSU Publ., 1976, iss. 5, pp. 129–148.
3. Vernadskii G.V. *Kievskaya Rus'* [Kievan Russia]. Tver', Lean Publ., Moscow, Agraf Publ., 1999. 447 p.
4. Vernadskii G.V. *Mongoly i Rus'* [The Mongols and Russia]. Moscow, Lomonosov" Publ., 2013. 509 p.
5. Vernadskii G.V. *Nachertanie russkoi istorii* [The inscription of Russian history]. Moscow, Airis-press Publ., 2004. 360 p.
6. Vernadskii G.V. *Opyt istorii Evrazii: zven'ya russkoi kul'tury* [An essay of the history of Eurasia. Links of the Russian culture]. Moscow, KMK Publ., 2005. 340 p.
7. Vernadskii G.V. *Russkaya istoriya* [The Russian history]. Moscow, Agraf Publ., 1997. 542 p.
8. Danto A. *Analytical philosophy of history*. Cambridge, University Press, 1965 (Russ. ed.: Danto A. *Analiticheskaya filosofiya istorii*. Moscow, Ideya-Press Publ., 2002. 290 p.).
9. Karamzin N.M. *Istoriya gosudarstva Rossiiskogo*. V 12 t. T. 4 [History of the Russian State. In 12 vol. Vol. 4]. Moscow, Nauka Publ., 1992. 480 p.
10. Karamzin N.M. *Istoriya gosudarstva Rossiiskogo*. V 12 t. T. 5 [History of the Russian State. In 12 vol. Vol. 5]. Moscow, Nauka Publ., 1993. 560 p.
11. Klyuchevskii V.O. *Sochineniya*. V 9 t. T. 2. *Kurs russkoi istorii*. Ch. 2 [Works. In 9 vol. Vol. 2. The course of the Russian history. Pt. 2]. Moscow, Mysl' Publ., 1987. 447 p.

12. Krivosheev Yu.V. *Rus' i mongoly: issledovanie po istorii Severo-Vostochnoi Rusi XII–XIV vv.* [Russia and the Mongols: research in history of Northeast Russia the XII–XIV centuries]. St. Petersburg, Akademiya issledovaniya kul'tury Publ., 2015. 452 p.
13. Laruelle M. *L'idéologie eurasiiste russe, ou, Comment penser l'Empire* [Russian Eurasianism: an ideology of empire]. Paris, L'harmattan, 1999 (Russ. ed.: Laryuel' M. *Ideologiya russkogo evraziistva, ili Mysli o velichii imperii.* Moscow, Natalis Publ., 2004. 287 p.).
14. Likhomanov I.V., Boiko V.A. Evraziitsy i muza Klio: ot mifologii – k nauke [Eurasians and muse of Klio: from mythology to a science]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*, 2017, no. 40, pp. 173–187.
15. Platonov S.F. *Polnyi kurs lektsii po russkoi istorii* [Complete course of lectures on Russian history]. St. Petersburg, Kristall Publ., 2000. 838 p.
16. Polevoi N.A. *Istoriya russkogo naroda* [The history of Russian]. Moscow, Veche Publ., 2008. 544 p.
17. Solov'ev S.M. *Sochineniya.* V 18 kn. Kn. 1. *Istoriya Rossii s drevneishikh vremen.* T. 1–2 [Works. In 18 bk. Bk. 1. History of Russia from the earliest times. Vol. 1–2]. Moscow, Mysl' Publ., 1988. 800 p.
18. Trubetskoi N.S. *Nasledie Chingiskhana* [Genghis Khan's Heritage]. Moscow, Agraf Publ., 2000. 556 p.
19. Febvre L. *Combats pour l'histoire.* Paris, A. Colin, 1953 (Russ. ed.: Fevr L. *Boi za istoriyu.* Moscow, Nauka Publ., 1991. 630 p.).
20. Florovskii G.V. *Evraziiskii soblazn* [The Euroasian temptation]. *Mir Rossii – Evraziya: antologiya* [The world of Russia – Eurasia: the anthology]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1995, pp. 354–385.
21. Khara-Davan E. *Chingis-khan kak polkovodets i ego nasledie: kul'turno-istoricheskii ocherk Mongol'skoi imperii XII–XIV veka* [Chingis Khan as a commander and his legacy: a cultural-historical essay on the Mongolian empire of the XII–XIV centuries]. Belgrad, author's ed., 1929.

The article was received on 04.03.2019.

The article was reviewed on 05.04.2019.